### Женщина в комнате

#### Стивен Кинг

Вопрос стоит так: сможет ли он сделать это? Он не знает. Он знает только, что она постоянно глотает всевозможные таблетки, чаще всего оранжевые, и смешно морщится при этом, издавая ртом не менее смешные чавкающие звуки. Но эти — совсем другое дело. Это даже не таблетки, а пилюли в желатиновых капсулах. На упаковке написано, что в их состав входит ДАРВОН. Он нашел их в ящике ее шкафа, где она хранила лекарства, и теперь, раздумывая, вертел их в руках. Насколько он помнит, это — сильнодействующее снотворное, которое доктор прописал ей до того, как ее положили в клинику. Она мучилась тогда жестокой бессонницей. Ящик забит лекарствами полностью, но разложены они в определенном порядке, как будто в этом есть какой-то тайный смысл. Какие-то свечи... Он имеет лишь смутное представление о том, как они применяются. Знает он только, что они вставляются в прямую кишку, а затем их воск растапливается теплом тела. От одной мысли об этом ему стало не по себе. Никакого удовольствия в том, чтобы вставить в задницу какие-то восковые палочки, он не видел. МОЛОЧКО МАГНЕЗИИ, АНАХИН (Болеутоляющее при артрите), ПЕПТОБИСМОЛ и много-много других. По названиям лекарств он мог бы проследить весь ход течения ее болезни.

Но эти пилюли — совсем другое дело. От обычных пилюль с Дарвоном они отличаются тем, что имеют серые желатиновые капсулы и размером покрупнее. Покойный отец называл их еще лошадиными пилюлями. Надпись на упаковке гласит: Аспирин — 3,5 мг, Дарвон — 1,0 мг. Проглотит ли она их, если он даст их ей сам? ПРОГЛОТИТ ЛИ? Весь дом наполнен звуками: холодильник то включается, то выключается, гулко лязгая при этом, в печной трубе отвратительно зазывает ветер, но особенно раздражает его кукушка из часов — эта идиотская птица кукукает каждые полчаса. Он подумают о том, какая грызня начнется между ним и его братом за право обладания домом после смерти матери. Все вокруг говорит об этом. Она, конечно, умрет, но пока она находится в Центральной Клинике штата Мэн, в Льюистоне. Палата 312. Ее поместили туда тогда, когда ее боли стали настолько сильными, что она была уже не в состоянии даже дойти до кухни и сварить себе кофе. Иногда, когда он навещал ее, она просто кричала от боли, сама этого не сознавая, поскольку часто теряла при этом сознание.

Лифт, поднимаясь, поскрипывает. Он от нечего делать внимательно изучает инструкцию по пользованию этим чудом техники. Из инструкции следует, что лифт абсолютно безопасен и надежен независимо от того, поскрипывает он или нет. Она здесь уже почти три недели, и сегодня ей сделали операцию под названием «кортотомия». Он не уверен в том, что правильно произносит это название, но так уж он запомнил. Доктор сказал ей, что «кортотомия» не такая уж сложная и болезненная операция, как она, наверное, думает. Он вкратце объяснил ей, что операция заключается в том, что в определенный участок ее мозга будет введена через шею длинная тонкая игла, сравнив это с тем, как если бы игла эта была введена просто-напросто в апельсин для укола определенного зернышка, высвеченного с помощью рентгеновского аппарата. И еще раз подчеркнул, что это почти совсем безболезненно. Участок, которого должна достичь игла, является болевым центром, который будет уничтожен посланным на конец иглы радиосигналом. Одно мгновение — и боль исчезает. Все равно, что выключить телевизор. И опухоль в ее желудке уже не будет беспокоить ее так, как раньше.

Мысленно представив себе эту операцию, он почувствовал, как ему стало даже немного дурно — это было куда похлеще введения каких-то там свечей в задний проход! 0н вспомнил прочитанную недавно книгу Майкла Кристона «Терминатор», где описывалось, как в человеческий мозг вживлялись различные электроды, контакты и всевозможные провода. Если верить Кристону, то приятного в этом мало.

Дверь лифта открывается на третьем этаже, и он выходит наружу. Это старое крыло здания клиники и пахнет почему-то опилками. Этот сладкий приятный запах напомнил ему о веселых деревенских ярмарках и далеком детстве. Пилюли он оставил в бардачке машины и не выпил, к тому же, ничего для храбрости перед этим визитом.

Стены выкрашены в два цвета: снизу коричневым, сверху — белым. Он подумал, что если и есть в природе сочетания более удручающие, чем коричневое с белым, то это, наверное, черное с розовым. Как жизнь и смерть. Он улыбнулся сам себе от столь удачного сравнения, но вместе с тем почувствовал и некоторое отвращение.

Длинные двухцветные коридоры клиники встречавшись возле лифта в форме буквы Т. Рядом с лифтом находился питьевой фонтанчик, рядом с которым он всегда останавливался, чтобы хотя бы еще немного оттянуть время и сосредоточиться. Там и сям вдоль стен было расставлено различное медицинское оборудование, как чьи-то забытые, как на детской площадке, странные игрушки. А вот хромированные носилки на литых резиновых колесиках, на которых пациентов отвозят в операционную, чтобы сделать им «кортотомию» или что-нибудь еще. Вот еще i какое-то приспособление округлой формы, назначение которого ему не известно. Что-то вроде колеса для белки. А вот носилки на колесах с двумя подвешенными сверху сосудами для физрастворов. Трубки, идущие от них смотаны в причудливые клубки и повешены на специальные крючки на стойках. Все эти замысловатые и немного пугающие приспособления вызвали у него яркие ассоциации с картинками Сальвадора Дали. В конце одного, из коридоров — кабинет медсестер с огромными стеклами вместо стен. Оттуда до него доносится их веселый смехи запах кофе.

Он пьет из фонтанчика и медленно направляется к ее палате. Ему страшно от того, что он может увидеть там и он надеется, что застанет ее сейчас спящей. Если она спит, то будить ее он не станет.

Над дверью каждой палаты небольшое застекленное окошечко с лампой. Когда пациент нажимает на кнопку у изголовья своей постели, окошечко загорается красным светом. В небольшом холле посередине коридора он увидел нескольких ходячих больных, прогуливающихся вдоль большого окна во всю стену, сделанного, видимо, уже недавно, так как само здание было довольно старым. Они были одеты в грубые дешевые халаты в белую и голубую полоски и с кокетливыми отложными воротничками. Халаты эти назывались на местном жаргоне «джонни». На женщинах «джонни» выглядели еще куда ни шло, но на —мужчинах — по меньшей мере странно и, уж конечно, довольно потешно. Почти все мужчины были обуты в больничные коричневые тапки из кожзаменителя, у женщин же на ногах были более мягкие матерчатые шлепанцы с разноцветными шерстяными помпонами. Такие же выдали и его матери, но она называла их тапочками.

Медленно перебирающие ногами молчаливые больные напомнили ему о фильме ужасов под названием «Ночь, когда воскресают мертвые». Они двигались так медленно, как будто пол вокруг них был облит майонезом или подсолнечным маслом и они боялись поскользнуться. Движения их были настолько плавными и медлительными, как будто внутри у них вместо костей и обычных для всех нормальных людей органов была какая-то жидкая субстанция, заключенная в тонкую оболочку их кожи. Некоторые из них были на костылях. Их неторопливое шествие былой пугающим, и вызывающим жалось и сочувствие одновременно. Никакой конкретной цели ни у одного из них нет — это видно по лицам, они просто прогуливаются вдоль стен и окна коридора и холла. Как студенты в перерывах между занятиями, вот только занятия у них совсем другие.

Из динамиков, развешанных в нескольких местах вдоль коридора, доносится веселенькая песенка «Джим Дэнди» в исполнении «Блэк Оук Арканзас» («Давай, Джим Дэнди! Давай, Джим Дэнди!» — задорно выкрикивает фальцет). Двое больных оживленно обсуждают достоинства и недостатки Никсона, только не размахивают при этом руками, как это бывает обычно. В их голосах он слышит явный французский акцент, Льюистон населен преимущественно французами, которые очень берегут свои национальные традиции: говорят обычно на родном языке, а по праздникам с удовольствием танцуют свои джиги и рилы, причем делают это с таким трогательным упоением и любовью, с каким происходят драки в барах на Лисбон-стрит.

Он остановился перед дверью палаты, в которой находилась его мать, и пожалел о том, что не выпил для храбрости. Ему тут же стало стыдно этой мысли — ведь он шел все-таки к своей матери. Она, правда, настолько одурманена элавилом, что все равно ничего не . заметила бы. Элавил — это сильный транквилизатор, который они дают больным в онкологическом отделении, чтобы их не волновало так сильно то, что они умирают.

Обычно он каждый день покупал в супермаркете «Сонни» одну шестибаночную упаковку пива «Блэк Лэйбл», возвращаясь с работы домой. Поинтересовавшись школьными успехами детей, он уютно устраивался в кресле и включал телевизор. Три банки за «Сезам-стрит», две за «Мистером Роджером» и одну за ужином.

Сегодня он хотел купить еще одну упаковку специально для этой поездки. Ему предстояло проехать двадцать две мили от Рэймонда до Льюистона по дорогам 302 и 202. В дороге он пить, конечно, не собирался, но перед тем, как подняться наверх, он мог бы выпить пару баночек для того, чтобы успокоиться, а потом мог бы вернуться еще — ведь у него оставалось бы их целых четыре...

Это просто дает ему возможность, точнее предлог, выйти из палаты, если вдруг станет слишком не по себе от вида умирающей матери. Он всегда оставляет машину не с той стороны клиники, куда выходят окна палаты? 312, ас другой. Правда, там вместо специальной стояночной площадки для автомобилей обычная ноябрьская слякоть, слегка прихваченная за ночь корочкой льда. После выпитого пива, а в еще большей степени просто из-за страха войти в палату ему вдруг захотелось в туалет, и он решил выйти на улицу — больничный туалет выглядит слишком удручающе: кнопка вызова сестры слева от сливного бачка, хромированная, как какой-нибудь хирургический инструмент, ручка для слива воды, банка с розовым раствором марганца для дезинфекции над раковиной. Довольно мрачные аксессуары, уж поверьте.

У него вообще появилось вдруг сильное желание медленно уехать отсюда домой, но он взял себя в руки. Если бы знать заранее, что так случится, то сегодня он точно не поехал бы сюда. Возвращаясь с улицы, он вспомнил о том, что дома его дожидается целая шестибаночная упаковка пива, и ему стало немного повеселее. Первой мыслью, которая пришла к нему после этой, была мысль о том, что СЕГОДНЯ ЦВЕТ ЕЕ КОЖИ БУДЕТ, МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ ТАКИМ ОРАНЖЕВЫМ, КАК В ПРОШЛЫЙ ЕГО ПРИЕЗД СЮДА. Следующей мыслью была мысль о том, КАК БЫСТРО ОНА УЖЕ УМИРАЕТ — БУКВАЛЬНО НА ГЛАЗАХ, как будто спешить не опоздать на поезд, который совсем уже скоро отправляется и увезет ее отсюда в небытие. Она совершенно неподвижна в своей кровати, за исключением, разве что, глаз. Но это ее внутреннее движение очень заметно и очень стремительно. Вся ее шея покрыта каким-то ярко-оранжевым веществом, похожим на йод, только намного гуще. Возле левого уха пластырь. Под ним — игольчатый радио-кристалл, подавляющий деятельность ее болевого центра, но и парализовавший ее на шестьдесят процентов. Фактически она абсолютно неподвижна, но глаза ее следят за ним неотрывно.

— Не надо было тебе видеть меня сегодня, Джонни. Мне сегодня не очень хорошо. Может быть, завтра? Завтра, мне кажется, должно быть лучше.

— А что тебя беспокоит?

— Больше всего — зуд. По всему телу. Мои ноги вместе?

Ему не видно под полосатой больничной простыней, вместе ее ноги или нет. В палате очень жарко и ноги немного приподняты над кроватью с помощью тросов — для того, чтобы пролежни не появлялись хотя бы на них. На второй кровати, стоящей немного подальше от окна, никого нет. «Больные появляются и исчезают, — подумал он, — а моя мать здесь постоянно, как будто осталась навсегда. О, Боже!»

— Они вместе, мама.

— Опусти их, пожалуйста, Джонни. Я очень устаю так. А после этого тебе лучше уйти. Я никогда еще не выглядела, наверное, настолько ужасно. Очень чешется нос, а я не могу ничем пошевелить. Чувствуешь себя такой беспомощной, когда чешется нос и не можешь его почесать.

Он чешет ей нос, а затем освобождает ее ноги от поддерживающих тросов и мягко опускает их одну за одной на кровать. Она похудела настолько сильно, что он свободно может обхватить икры ее ног пальцами одной руки, хотя руки у него не такие уж и большие. Она тяжело вздыхает и со стоном закрывает глаза. По ее щекам скатываются на уши две маленькие слезинки.

— Мама?

— Ты можешь, наконец, опустить мои ноги?

— Я уже опустил их.

— Ох... Ну тогда все хорошо. Кажется, я плачу. Я не хочу, чтобы ты видел мои слезы. Я ведь никогда не плакала при тебе. Это просто от боли, но все равно постараюсь, чтобы ты больше этого не видел.

— Хочешь сигарету?

— Сначала дай мне, пожалуйста, глоток воды. У меня все пересохло во рту и в горле.

— Конечно. Сейчас.

Он берет с тумбочки ее стакан с гибкой виниловой трубочкой внутри и выходит из палаты. Направляясь к питьевому фонтанчику за углом, он видит толстого человека с эластичной повязкой на ноге, медленно плывущего, как во сне, вдоль коричнево-белого коридора. Человек держит «джонни» запахнутым на груди судорожно скрюченными руками и неслышно переставляет ноги в своих мягких домашних тапочках. Шажки его настолько крохотны, что едва заметны, неподвижный взгляд устремлен куда-то очень далеко.

Дойдя до фонтанчика, Джонни набирает полный стакан воды и возвращается с ним обратно в палату № 312. Плакать она уже перестала и, с трудом вытянув губы, берет ими виниловую трубочку, очень напоминая ему этим движением верблюдов, которых он видел, путешествуя однажды по Египту. Какое осунувшееся лицо! Такое лицо он видел у нее лишь однажды, очень давно, когда ему было всего двенадцать лет и она тяжело болела воспалением легких. Но такой страшной худобы тогда все равно не было. Предсмертной худобы. Он и его брат Кевин переехали недавно в Мэн специально для того, чтобы позаботиться о ней на старости лет. И вот его мать прикована к постели и умирает. Очень тяжело умирала и его бабушка, мама его мамы. Гипертония постепенно сделала ее совершенно беспомощной, а один из очередных инсультов лишил ее, вдобавок к этому, еще и зрения. Случилось это как раз в день ее восьмидесяти шестилетия. Хорош подарочек, нечего сказать. Она тоже так и лежала постоянно в постели, слепая и совершенно беспомощная. Еще более жалкой делали ее кружевные чепчики, которые она очень любила. Кружева на ее белье были везде, где только можно, но чепчики она любила особенно. Ее часто мучила тяжелая одышка, и временами она не могла вспомнить, что было утром на завтрак, но зато могла, например, безошибочно перечислять всех президентов Соединенных Штатов начиная с Айка. В этом доме, где он недавно нашел пилюли, прожило три поколения рода ее матери, хотя ее родители, конечно, уже давно умерли. Однажды, когда ему было лет десять, он, не дождавшись, когда всех позовут к завтраку, стащил что-то со стола. Он не помнил, что кажется, какую-то гренку или лепешку. Его мать как раз забрасывала тогда в старенькую дряхлую стиральную машину грязные бабушкины простыни. Мать, почуяв неладное, быстро повернулась к нему и, выхватив из машины мокрую тяжелую простынь, с силой хлестнула его по руке. Гренка или лепешка, вывалившись из нее от удара, упала прямо на стол. Второй удар пришелся по спине. Ему было тогда не столько больно, сколько обидно. Он был просто оглушен этой обидой и выкрикнул матери что-то очень дерзкое. Удары посыпались на него один за другим. Эта женщина, которая лежит сейчас перед ним в этой страшной палате, с яростью хлестала его грязной мокрой простыней снова, снова и снова, крича при этом: «Не смей больше раскрывать без разрешения старших свой поганый рот! Подрасти сначала! Не смей! Не смей! Не смей!» Каждый выкрик сопровождался тяжелым ударом мокрой вонючей простыни. Никогда в жизни после этого ему не было так смертельно обидно, как тогда. Это. стало чуть ли не самым сильным впечатлением его детства и очень долгое время он был уверен, что не может быть ничего обиднее, чем быть избитым мокрой грязной простыней собственной матерью. И только спустя довольно много лет он начал постигать искусство не обижаться.

Она пьет воду медленно, маленькими глоточками и вдруг на него наваливается сильный панический страх, как если бы он УЖЕ дал ей эти пилюли. Немного придя в себя, он снова спрашивает, не хочет ли она покурить.

— Пожалуй, — отвечает она. — Главное, чтобы доктор не узнал. А после этого ты уйдешь. Может быть, завтра мне будет немного лучше.

Он достает из пакета, принесенного им, пачку «Кул», прикуривает ей одну сигарету и осторожно вкладывает ее между указательным и средним пальцами ее левой руки. Она с большим трудом подносит ее к губам и делает слабую затяжку. Он забирает у нее сигарету и держит ее дальше сам.

— Я прожила всего шестьдесят лет, и вот уже мой сын держит для меня сигарету, потому что сама я не в состоянии это сделать.

— Не будем об этом, мама. Мне не трудно. Она снова затягивается и не выпускает фильтр из губ так долго, что он начинает беспокоится — не навредил ли он ей сигаретой. Глаза ее закрыты.

— Мама?

Глаза медленно приоткрываются. Взгляд совершенно отсутствующий.

— Джонни...

— Все нормально? Тебе не стало плохо от сигареты?

— Нет. Как долго ты уже здесь?

— Да не очень. Я, наверное, лучше пойду. Поспи.

— Хм-м-м-м-м...

Он выбрасывает сигарету в унитаз и быстро выскальзывает из палаты, думая при этом: «Я хочу поговорить с этим доктором. Черт побери, я должен увидеть доктора, который сделал это!»

Входя в лифт, он подумал, что словом «доктор» называют уже почему-то любого человека, который достиг любого, пусть даже самого ничтожного уровня в своей профессии, о том, что доктора слишком часто бывают очень жестоки и объясняют это каким-то мистическим и доступным только им уровнем гуманности. Но «Я не думаю, что она протянет очень долго», — говорит он своему брату этим вечером. Брат живет в Андровере, В семидесяти милях к западу. В клинику он приезжает только раз или два в неделю.

— Но, по крайней мере, ей уже не так больно? — спрашивает Кев.

— Она говорит, что больше всего ее беспокоит зуд. Пилюли лежат в кармане его свитера. Жена уже давно спит и не слышит их разговора. Он вытаскивает коробочку из кармана и рассеянно вертит ее в руках, как кроличью лапку. Коробочку с пилюлями, которую он стащил из пустого дома его матери. Из дома, в котором когда-то очень давно, когда они были еще маленькими мальчишками, они жили все вместе с бабушкой и с дедушкой.

— Ну, значит ей лучше.

Для Кева всегда все «лучше», как будто все в мире неуклонно движется к какой-то великой светлой вершине. Младший брат никогда не разделял такого его оптимизма.

— Она парализована.

— Разве это так важно теперь?

— Конечно ВАЖНО, черт побери! — взрывается он, думая о ее ногах под полосатой больничной простыней.

— Джон, она умирает.

— ОНА ЕЩЕ НЕ УМЕРЛА!

Вот что самое страшное для него. Разговор пойдет сейчас по кругу с затрагиванием всяких бессмысленных мелочей вроде платы за телефон. Но главное не в этом. Главное в том, что она пока еще не умерла. Она лежит сейчас в палате № 312 с больничной биркой на запястье и прислушивается, если не спит, к звукам радио, едва доносящимся к ней из коридора. И скоро, по словам доктора, предстанет перед Всевышним. Но прощание с жизнью будет для нее очень мучительным. Доктор — высокий широкоплечий человек с песчано-рыжей бородой ростом наверное, больше шести футов. Когда в предпоследний визит к матери они стояли около кровати, и она начала вдруг засыпать, доктор, мягко взяв его за локоть и выведя из палаты в коридор, сказал:

— Видите ли, при такой операции, как кортотомия, некоторое уменьшение моторной функции неизбежно. У вашей матери это уменьшение получилось очень значительным, но она может немного двигать сейчас левой рукой. Думаю, через две-четыре недели сможет двигать и правой.

— Сможет она ходить?

Доктор задумчиво уставился в потолок, и борода, поднявшись, приоткрыла воротничок его клетчатой рубашки. Этим он почему-то вдруг напомнил Джонни Элгернона Суинберна. Понятно почему: все в этом человеке было прямой противоположностью бедному Суинберну.

— Думаю, что нет. По крайней мере это очень маловероятно. Вы должны быть готовы к этому.

— Она будет прикована к постели до конца жизни?

— Скорее всего — да.

Он начинает чувствовать восхищение этим человеком, но почему-то вперемешку с недоверием. Какое-то странное, двоякое чувство. Ему то кажется, что этот человек на редкость добр, то, что он непередаваемо жесток.

— Как долго она сможет прожить так?

— Трудно сказать. Опухоль блокирует сейчас одну ее почку. Вторая действует нормально. Но когда опухоль распространится и на нее — она заснет.

— Уремическая кома?

— Да, но не совсем так. Термин «уремия» употребляется обычно лишь в узком кругу медицинских специалистов. Для простых людей, не очень близко знакомых с медициной, все выглядит несколько проще.

Но Джонни прекрасно знает, что такое «уремия» — его бабушка умерла от того же самого, хотя у нее и не было рака. Ее почки просто практически перестали функционировать, и она впала в глубокую кому. Как-то в послеобеденное время, как всегда в своей кровати, она просто тихо умерла во сне. Джонни был первым, кто заподозрил, что это не просто коматозный сон, когда старики спят с открытым ртом. На ее щеках не успели высохнуть следы от двух маленьких слезинок, а она уже была мертва. Ее беззубый полуоткрытый рот и старчески сморщенные потрескавшиеся губы вызвали у него тошнотворную ассоциацию со сгнившим и ссохшимся помидором, завалившимся недели две назад за какой-нибудь кухонный шкаф и оставшийся там незамеченным до тех пор, пока не начал вонять. Он поднес ей ко рту маленькое круглое зеркальце и терпеливо подержал его там минуту. Увидев, что на зеркальце не появилось ни малейших признаков запотевания, он позвал мать,

— Она говорит, что ее все еще мучают боли. И сильный зуд.

Доктор важно наклонил голову вбок, напомнив ему на этот раз Виктора де Грута.

— Ей КАЖЕТСЯ, что ей больно. Это мнимые боли. На самом деле никаких болевых ощущений она не испытывает. Вот почему так важен фактор времени. Ваша мать практически не в состоянии исчислять время секундами, минутами или часами. Она просто не чувствует его. Грубо говоря, для нее это то же самое, что дни, недели и месяца.

До него, наконец, с большим трудом доходит смысл того, о чем говорит этот высокий широкоплечий человек с бородой, и это пугает его. Где-то в отдалении тихо звенит какой-то звонок. Доктор не перестает говорить, желая закончить начатую мысль, однако этот звонок — сигнал того, что ему надо куда-то идти.

— Можете вы сделать что-нибудь для нее?

— Очень немногое.

Говорит он очень тихо и спокойно. По крайней мере, он, что называется, «не вселяет ложной надежды».

— Может случиться что-нибудь еще хуже, чем кома?

— Конечно МОЖЕТ. Но мы не можем предсказать это с достаточной степенью точности. Это совершенно непредсказуемо. Поведение болезни можно сравнить с поведением акулы. И то, и другое прогнозам не поддается. У нее может развиться, например, отечность или опухание брюшной полости.

— Еще одна опухоль?

— Нет, вы неправильно поняли меня — это не злокачественное новообразование, а просто опухание брюшной полости, при котором она раздувается подобно камере футбольного мяча. Это опухание может потом спасть, а после этого появится снова. Я думаю, однако, что вряд ли стоит подробно останавливаться на таких деталях сейчас. Я считаю, что исход операции в любом случае можно будет считать успешным. «А ЕСЛИ НЕТ?! — думает Джонни. — А ЕСЛИ НЕТ?!» Что будет, если вдруг, не дай Бог, произойдет наоборот? И ему все-таки придется дать ей эти пилюли?! Что будет, если его схватят за руку?! Он не хочет оказаться на скамье подсудимых по обвинению в «убийстве из милосердных побуждений». У него совершенно нет желания попасть на галеры. Мысленно он уже видит вопящие заголовки газет: МАТЕРЕУБИЙЦА ПОЙМАН ЗА РУКУ НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Приятного мало.

Сидя в машине, он все вертит и вертит в руках коробочку с надписью ДАРВОН. Вопрос стоит все также: СМОЖЕТ ЛИ ОН СДЕЛАТЬ ЭТО? Должен ли он? Он прекрасно помнит ее слова: «КАК БЫ Я ХОТЕЛА, ЧТОБЫ ВСЕ ЭТО ПОСКОРЕЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ! ВСЕ БЫ СДЕЛАЛА ДЛЯ ЭТОГО, ЛИШЬ БЫ НЕ МУЧИТЬСЯ!» Кевин предлагает выделить ей комнату в его доме для того, чтобы она могла умереть не в клинике, а среди близких людей. В клинике держать ее тоже больше не хотят. Прописали ей какие-то новые пилюли, от которых речь ее стала еще более бессвязной и невнятной. Это было уже на четвертый день после операции. Они просто хотят как-нибудь поскорее избавиться от нее, чтобы ее возможную смерть от неудачно проведенной кортотомии можно было как-нибудь списать просто на обычный рак. И она, таким образом, может остаться практически полностью парализованной вплоть до самой смерти, которая, не исключено, может наступить не так уж и скоро.

Он пытается представить себе, что значит потерять чувство времени. Как она справляется с этим. И вообще, так ли уж это важно для нее? Наверное, это что-то вроде того, как попытаться собрать и распутать несколько десятков клубков шерсти, разбросанных и запутанных игривым котенком. Пожалуй, даже намного сложнее. Длинная череда дней, проведенных в палате № 312. Длинная череда ночей, проведенных в палате № 312. И все это в хаотическом нагромождении друг на друга...

К кнопке вызова медсестры они приспособили небольшой рычажочек с веревочкой, другой конец которой привязали к указательному пальцу ее левой руки —она уже не в состоянии дотянуться до этой кнопки и нажать ее, если вдруг ей понадобиться помощь или просто возникнет необходимость в утке.

Но даже и это ей уже неподконтрольно — она практически де чувствует своих внутренних органов так же, как не чувствует ног или рук, и о том, что сходила под себя, узнает только по доносящемуся запаху. За время пребывания в клинике она похудела с шестидесяти восьми до сорока трех килограммов, а все ее мышцы атрофированы настолько, что ее тело можно сравнить разве только что с телом плюшевой куклы. Имеет ли это какое-нибудь значение для Кева?

Способен ли он, Джонни, на убийство? Ведь он хорошо понимает, что это, как ни крути, самое настоящее убийство. Причем не просто убийство, а матереубийство, как будто он — внутриутробный плод из ранних рассказов Рэя Брэдбери, задачей которого является убийство вынашивающего его организма. Причем убийство во время родов — убийство организма, уже даровавшего ему жизнь. И действительно, Джонни был единственным ребенком в семье, с рождением которого были связаны большие трудности. После появления на свет его старшего брата Кевина, доктор сказал его матери, что лучше бы ей не иметь больше детей, поскольку это связано с большим рисков для жизни... Ее рак начался именно с матки. Его жизнь и ее смерть начались в одном и том же месте Как будто там появился какой-то его темный двойник, который уже медленно и грубо подталкивает ее к краю могилы.

Так почему же он сам не может сделать это более быстро и безболезненно? НЕ ЛУЧШЕ ЛИ будет сделать это ему самому?

Он уже постепенно приучил ее к тому, что когда ей больно (вернее, когда ей КАЖЕТСЯ, что ей больно), он дает ей анальгин. Она уже воспринимает это спокойно. Таблетки лежат в выдвижном ящичке тумбочки в футляре от очков для чтения, которые ей уже больше не понадобятся. Они решили убрать их из тумбочки так же, как и ее вставные зубы, опасаясь того, что она может непроизвольно втянуть их в себя и задохнуться. Сестра выдает ей таблетки сама. Но они с Джонни придумали такую вот хитрость с футляром для очков, поскольку она питает очень большое уважение, просто мистическое какое-то преклонение перед всевозможными таблетками и глотает аспирин до тех пор, пока не побелеет язык.

Конечно, он без труда сможет дать ей эти пилюли. Трех-четырех будет вполне достаточно. Тысячи четырехсот гранов аспирина, четырех сотен гранов Дарвона для пожилой женщины, вес которой уменьшился на пять месяцев на одну треть — более, чем достаточно.

Никто не знает, что у него есть эти пилюли — ни Кевин, ни жена. Он думает о том, что было бы лучше, если бы в палату? 312 положили кого-нибудь еще. Тогда бы он не так волновался. Тогда его непричастность была бы еще более очевидна, а если дело дойдет до расследования, то вину его доказать будет значительно труднее. Действительно, так было бы лучше. Если бы в палате лежала еще какая-нибудь женщина, то он был бы очень благодарен за это Провидению...

— Ты выглядишь сегодня лучше.

— Правда?

— Намного. Как ты себя чувствуешь?

— Ох, не очень. Сегодня не очень хорошо.

— Давай посмотрим, как двигается твоя правая рука.

Она медленно и очень с большим трудом отрывает ее от простыни. Рука со скрюченными пальцами замирает на какое-то мгновение в воздухе и падает — ТУМ. Он улыбается ей, иона улыбается ему в ответ.

— Тебя сегодня осматривал доктор?

— Да, он приходил. Он каждый день ко мне приходит. Очень мило с его стороны. Дай мне, пожалуйста, немного воды, Джон.

Он дает ей стакан с трубочкой.

— Спасибо тебе, Джон, за то, что ты так часто навещаешь меня. Ты очень хороший сын.

Она снова плачет. Вторая кровать пуста. То и дело мимо застекленной стены палаты проплывает грязно-белые или голубые «джонни». Дверь полуоткрыта. Он осторожно забирает у нее стакан, тупо пытаясь сообразить, «полупустой он или полуполный».

— А как левая рука?

— О, намного лучше.

— Давай посмотрим.

Она поднимает ее. Мать всегда была левшой и, может быть, поэтому левая рука оправляется от губительных для моторных функций осложнений после кортотомии быстрее. Она медленно сжимает пальцы в кулак, сгибает руку в локте, похрустывая суставами запястья и пальцев. Вокруг рука неожиданно падает на простыню с глухим звуком —ТУМ.

— Я совсем не чувствую ее. Он подходит к стенному шкафу, открывает его, достает из него пальто, в котором она приехала в клинику и вынимает из его кармана ее кошелек. Она панически боится воров. Она просто помешалась на них с тех пор, как услышала от бывшей своей соседки до палате, что у одной пожилой дамы в старом крыле клиники украли пятьсот долларов, которые она прятала в тапочке. Она уже несколько раз рассказывала ему об уборщицах, которые готовы слямзить буквально все, что плохо лежит, особенно у спящих больных. Его мать вообще стала помешана слишком на многом. Однажды она рассказала ему дрожащим голосом об одном человеке, который якобы зашел как-то поздно ночью в ее палату и, спрятавшись под кровать, просидел там до утра, а потом так же тихо ушел. Это конечно можно было бы объяснить действием многочисленных транквилизаторов, которыми они ее пичкают. Но главная причина, без сомнения, в том, что у нее наметились явные нелады с психикой. Просто паранойя какая-то. Вообще-то здесь самое настоящее разгулье для наркоманов — таблетки можно без труда стащить из аппараторской в конце коридора, которая почему-то никогда не запирается. Может быть, это сделано даже нарочно. Приближение смерти не так, наверное, трагично, когда находишься под мягким черным одеялом транквилизаторов. Чудеса современной науки.

В кошельке кроме денег лежат еще и ее таблетки. Он возвращается с ним к кровати, садится на стул и открывает его.

— Дать тебе что-нибудь отсюда?

— О, Джонни, я не знаю...

— Выпей что-нибудь. Может, тебе станет легче. Ее левая рука медленно отрывается от простыни и.. покачиваясь, поднимается как поврежденный вертолет. Она неуверенно подносит ее к кошельку и, опустив пальцы внутрь, достает оттуда упаковку каких-то таблеток.

— Отлично! Молодец! — аплодирует Джонни. Но она отворачивает лицо, вернее глаза, в сторону и произносит плачущим голосом:

— В прошлом году я могла поднять этими руками два йодных ведра воды.

Ну, вот время. Нужно делать это сейчас. В палате очень жарко, но на лбу у него выступает холодная испарина. «Если она не попросит сейчас аспирин, — думает он, —то я НЕ СДЕЛАЮ ЭТОГО. Не сегодня». Но он знает, что если не сегодня, то, значит, уже никогда.

— Ну ладно, Джонни, дай мне пару моих пилюль, — говорит она, с опаской косясь на полуприкрытую дверь.

Она всегда просит его об этом именно так, слово в слово. Как заядлый наркоман. Но старается не выходить, однако, за рамки предписаний врача. Разве что совсем немного. Ведь она потеряла слишком много веса, да и здоровья тоже, и боится «перебрать», точно так же выражались и они с приятелями, когда баловались в колледже разными наркотиками. Ведь при ослабленном организме очень легко не рассчитать дозировку и оказаться на волосок от смерти. А можно и «перебрать». Одна лишняя таблетка или ПИЛЮЛЯ — и ты за гранью. Как раз это, говорят, и случилось с Мерилин Монро.

— Я привез тебе кое-какие пилюли из дома.

— Да?

— Очень хорошее болеутоляющее. Он вытаскивает коробочку из кармана и протягивает, чтобы показать ей. Она может читать только с очень близкого расстояния, да и то различает только крупные буквы.

— Я уже принимала Дарвон раньше. Он не помогает мне.

— Здесь концентрация выше.

— Выше концентрация? — переспрашивает она, медленно переводя взгляд с коробочки на него.

В ответ он только глупо улыбается. Говорить он уже просто не может. Точно так же было, когда он впервые узнал женщину на заднем сидении автомобиля его друга и вернулся домой уже очень поздно. Когда мать спросила его, как он провел сегодня время, он точно так же глупо улыбался ей в ответ, как и сейчас.

— А я смогу их разжевать?

— Не знаю. Думаю, что их можно просто проглотить.

— Ну, хорошо. Только смотри, чтобы никто ничего не увидел.

Он вынимает из коробочки пузырек, открывает пласты массовую крышечку и вытаскивает из него ватку, прикрывающую пилюли сверху. Смогла бы она проделать все это практически одной левой рукой, которая, к тому же, болтается в воздухе, как поврежденный вертолет. Поверят ли они этому? Он не знает. Может быть, об этом даже никто и не задумается. Кому какое дело, в конце концов.

Он вытряхивает на ладонь шесть капсул и украдкой наблюдает за тем, как она смотрит на него. Это много. Слишком много. Даже она должна понимать это. Если она скажет сейчас что-нибудь об этом, он сейчас же ссыплет все обратно и даст ей одну обычную болеутоляющую таблетку, применяемую при артрите.

По коридору быстрыми шагом проходит сестра, и он, замерев, быстро отгораживается от нее спиной. Каблучки процокали мимо. Руки, пытающиеся собрать капсулы вместе, трясутся.

Его мать не говорит ничего и только смотрит на пилюли, ни о чем не подозревая, как если бы это были просто обычные пилюли.

— Ну, давай, — говорит он ей своим обычным голосом, как ни в чем не бывало, и вкладывает первую капсулу ей в рот.

Она пытается разжевать желатиновую оболочку беззубыми деснами и морщится.

— Что, горькие?

— Да нет, не очень.

Он дает ей следующую пилюлю, еще одну... Она все так же мусолит их деснами перед тем, как проглотить. Четвертая... Отпив глоток воды через трубочку, она улыбается ему и он с ужасом видит, как ядовито-желтым стал ее язык. Если с силой надавить ей сейчас на живот, а еще лучше ударить по нему, то ее вырвет и смерть, которую она проглотила только что, окажется на простыне. Но он не может. Он никогда не мог ударить свою мать.

— Посмотри, пожалуйста, ноги вместе?

— Проглоти сначала еще вот эти. Он дает ей пятую пилюлю... И шестую... Потом смотрит, вместе ли ее ноги. Вместе.

— Я, пожалуй, посплю немного, — говорит она.

— Ол райт. А я пойду попью.

— Ты всегда был очень хорошим сыном, Джонни. Уголком простыни он тщательно стирает с пузырька отпечатки своих пальцев и ставит его в коробочку, проделав то же самое и с ней. Коробочку он вкладывает обратно в кошелек, а крышку от пузырька оставляет на тумбочке, не забыв потереть и ее. Кошелек он тоже кладет на тумбочку, хладнокровно рассуждая при этом: «ОНА ПОПРОСИЛА МЕНЯ ДОСТАТЬ ЕЙ КОШЕЛЕК ИЗ ПАЛЬТО, ЧТО ВИСИТ В СТЕПНОМ ШКАФУ. Я СДЕЛАЛ ЭТО ПЕРЕД САМЫМ СВОИМ УХОДОМ И ХОТЕЛ ПОМОЧЬ ЕЙ ВЫТАЩИТЬ ОТТУДА ТО, ЧТО ЕЙ БЛО НУЖНО, НО ОНА СКАЗАЛА, ЧТО СПРАВИТСЯ САМА И ПОПРОСИТ ПОТОМ СЕСТРУ ПОЛОЖИТЬ КОШЕЛЕК ОБРАТНО».

Он выходит из палаты и, быстро дойдя до питьевого фонтанчика, жадно припадает к нему губами. Над фонтанчиком висит зеркало и, выпрямившись, он пристально и долго смотрит в него на свой язык.

С замиранием сердца он возвращается в палату и видит, что она уже спит. Руки беспомощно разбросаны по простыне. Вены на них пульсируют то сильно, то едва заметно и очень неритмично. Он целует ее в лоб. Ее веки слабо вздрагивают, но не открываются. Все... Остановить это уже невозможно. Он чувствует, как на него наваливается какая-то прострация — ему ни хорошо, ни . плохо. Ему все равно.

Он выходит из палаты на ватных ногах и пытается сосредоточится на чем-нибудь постороннем. Все равно, на чем — лишь бы на чем-нибудь другом. Бесполезное занятие. Он снова возвращается в палату и выливает себе за шиворот почти полный стакан воды. Холодная вода немного приводит его в чувство, и вдруг его осеняет — ведь он только что чуть не выдал себя с головой. Он достает из кошелька коробочку с пилюлями и прижимает ее и пузырек к ее почти уже безжизненным пальцам, чтобы на них остались их отпечатки. Затем, аккуратно придерживая их уголком простыни, снова возвращает их в кошелек, а кошелек на тумбочку. Проделав это, он быстро, не оборачиваясь, выходит из палаты.

Возвратившись домой, он автоматически усаживается в кресло, даже не разувшись, и включает телевизор, но совершенно не воспринимает того, что там показывают. В мозгу болезненно пульсирует только одна мысль: «Как жаль, что я не поцеловал ее еще хотя бы один раз...» Совершенно забыв о пиве в холодильнике, он вливает в себя стакан за стаканом холодную воду и ждет звонка из клиники.